

ПЁТР МАЛЬЦЕВ

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ...

РАССКАЗ

После окончания авиационного института я два года служил техником самолёта и выпускал в полёты истребители-бомбардировщики. После увольнения из армии возвратился домой, на хутор Басов, на свою малую родину.

Однажды вместе с отцом перебирали мы стены старого, обмазанного глиной с примесью рубленой соломы скотного сарая и на самой верхней связующей жерди, которую оплетали выпущенные концы орешниковой лещины, обнаружили несколько звонков-погремушек.

Кто из нас в школьные годы с волнением, возникающим у самого сердца, не держал в руках звонок, оповещающий мелодичным звоном своих сверстников о завершении или начале уроков, сохраняя на всю жизнь память о своей первой учительнице, о своей первой любви или о своём беззаботном детстве?

С каким-то неподдельным восторгом вынимал я с внутренней стороны сарая погремки, радуясь совершенству их формы, которая повторяла в своих основных чертах форму церковных колоколов. Строгая, устоявшаяся, построенная на равновеликих соотношениях высоты и диаметра отверстия купола, она создавала впечатление устойчивости и надёжности.

Каждый обнаруженный колокольчик жил своей жизнью, отличаясь от другого высотой тона, силой звука, продолжительностью звучания, но объединяло их одно: звон был мелодичный, в нём существовали ещё и какие-то особые призвуки, придававшие притягательную силу звучанию.

Спустя годы, заинтересовавшись колокольным звоном западноевропейских и модных в то время китайских колокольчиков, я обратил внимание, что на Западе поперечник основания всегда превосходил высоту купола, и звук был резкий, сильный, но почему-то короткий. А китайские были приплюснуты книзу, и поперечник основания ненамного превосходил поперечник верхнего пояса и почти всегда был вдвое меньше высоты колокольчика, а звон был глухой и короткий. Колокольчики, сейчас оказавшиеся в моих руках, отличались изяществом и гармонией своей формы, а их мягкий, нежный, чистый, неповторимый по продолжительности и силе, переливчатый по тембру звон успокаивал и ласкал слух.

Колокольчики были отлиты из меди, а их язычок был выкован из железа. Они были лишены всякого орнамента, и это придавало особенную простоту. На всех по нижнему, расширяющемуся краю были отлиты шуточные витиеватые надписи: “Звону много — веселей дорога”, “Прощай, милая моя, еду в дальние края”, а на самом маленьком бросалась в глаза краткая, незамысловатая, но хорошо запоминающаяся надпись: “Дар Валдая”.

Вряд ли кто из нас в школе, держа в руке такой колокольчик-звонок, читал традиционные надписи на его *юбочке*, хотя на уроке географии многие стояли у карты, висевшей почти в каждом классе чуть ли не во всю стену, и искал на ней родину этих колокольчиков.

Валдай... Здесь на живописных холмах растут по соседству могучие корабельные сосны и стройные тёмно-зелёные ели, белоствольные русские берёзы и трепетные горькие осины. Здесь, в стране голубых озёр, берут своё начало матушка-Волга, великая русская река, и Днепр, которому, по словам Гоголя, нет равной реки в мире. Может, поэтому чистый, светлый Валдай и стал родиной ямщицких поддужных колокольчиков — настоящего русского национального чуда. Так и в песне поётся: “И колокольчик, дар Валдая, // Гремит уныло под дугой”.

Проявляя неподдельное любопытство, я рассматривал *юбочки* найденных колокольчиков с озорными и шутивными надписями, заставляющими о многом задуматься, и мощную, на века отлитую внутри колокольного купола петельку, на которой болтался нелепый язычок и безжалостно бил в самый его край, разнося колокольчиковый звон на многие вёрсты окрест.

Воображение рисовало безбрежную, тревожную холмистую степь, в которой, как в той русской народной песне поётся, замерзал ямщик, и разливающийся над ней звон колокольцев, сопровождающий его в последний, спасительный путь.

*Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит,
В той степи глухой
Замерзал ямщик...*

“Чужую похоронку всегда трудно искать, — думал я, держа в руках найденные погремки-колокольчики. — С чьей же благоговейной любовью бережно хранились они от назойливых глаз в застрехе нашего старого скотного сарая?”

Разбуженная бессвязно нахлынувшими воспоминаниями память не давала мне ответа, и лишь голос мамы, неожиданно появившейся на середине нашего широкого двора, привёл меня в чувство.

— Да ведь это же особо чтимые и хранимые моей мамашей (так ласково она называла свою свекровь, мою бабушку Матрёну Ивановну) погремушки, которые она берегла как память о прошлом, о самой светлой полосе её жизни!

И тут я вдруг почувствовал живой интерес к своей находке. Чему не суждено пропасть, то не пропадёт. Нашлась и бабушкина пропажа.

Хранимое в сердце всегда отражается в лице. Я смотрел в мамины вспыхнувшие глаза, которые так хотели рассказать мне, что в жизни всякое бывает, смотря в какую полосу попадёшь.

— Здесь, на хуторе Басове, в семье Тихона, куда попала свекруха, — вспоминала моя мама, — всегда промышляли извозом — почтовой гоньбой на своих лошадях.

Долгими зимними вечерами она вместе со свекровью, моей бабушкой, сидела в старой саманной обветшалой хате подле грубы с полыхавшими и трескучими колотыми дубовыми кругляшами, которые источали сильный, обжигающий жар, на самодельной тёрке лущила снятые с чердака кочаны кукурузы и слушала длинные, волнующие рассказы свекрови про её замужнюю многоцветную, стремительную жизнь. Теперь же, стоя посреди двора и улавливая чутким ухом колокольчиковый звон, она вспоминала те вечерние посиделки, только сейчас по-настоящему осознавая цену пропажи навсе-

гда, казалось бы, уже потерянных ямщицких поддужных колокольчиков, на которые можно было бы и махнуть рукой — это же все равно, что искать вчерашний день или ветра в поле.

— Мой свёкор от природы всем взял, всё было при нём. Ясна сокола всегда видно по полёту: он был и пригож телом, и хорош делом. “Человек живёт век, а его дело — два”, — говаривал он.

И мама, тихо произнеся эти слова, улыбнулась с какой-то затаённой, мягкой гордостью.

— От сказанного до сделанного — большой путь. Тихон по натуре был мужик-огонь, к нему трудно было подобрать ключи. На живого никогда не угодишь, но на него всегда можно было положить. Твой дед был не подлого рода: горячий, но справедливый, у него где гнев был, там и милость. Каков характер, таковы и поступки. Себя в обиду не давал, бил, как молодом ковал. Каждый понимал, что ему на хвост не наступишь. В разношёрстной массе сельчан он был редкой птицей — слугой совести и хозяином воли, всем не чета.

В то время крестьяне, промышлявшие почтовой гоньбой на своих лошадях, освобождались от подушной подати. Твой дед тоже занимался извозом.

— Он правил лошадами с особым шиком, — продолжала мама, — с какой-то ухарской хваткой. Вожжи струной! Двумя центральными управлял средней лошадию по кличке Заветный, а крайними — по одной на каждую пристяжную — Боголепной и Кокеткой.

Любуясь красотой колокольчиков, занятые разговором, мы не заметили, как звякнула щеколда и во двор нашего дома вошла соседка — весёлая старуха Елизавета Ивановна. От маминых воспоминаний она преобразилась — смелое слово всегда поддерживает сердце — и живо вмешалась в разговор:

— Я хорошо помню тех лошадей, они до сих пор ещё мутуются в моих глазах. Коренник от природы был наделён чувственной красотой, он был словно заветный перстенёк: хоть и поношенный, но всегда хорош. В нём текла голубая кровь, и любой хозяин мог позавидовать грации этой лошади. Большой рост, лёгкий наклон спины к переду, тонкая шея, изящная, чуть горбоносая голова, выразительные глаза, негустая шелковистые грива и такой же хвост, исключительная выносливость и способность моментально восстанавливать силы делали его заметным среди других лошадей.

Когда Заветный, серый в яблоках жеребец, резво бежал размашистой рысью с высоким подъёмом ног, казалось, что он парит над землей. Пристяжные — белой масти лошади — легко подчинялись его воле и скакали заедино размеренным галопом, с завёрнутыми в сторону лебедиными шеями. Они ещё однолетками вместе с ним разгуливали на луговом Машечкином выпасе и всегда признавали в нём лидера.

Слушая рассказ мамы и заглянувшей во двор весёлой старушки Елизаветы Ивановны, я внутренне ощущал, что с воскрешением тех далёких, полубытых, славных воспоминаний я только теперь начинал понимать и отдавать себе отчёт, какого я роду-племени.

— Без отваги человек и портянки не стоит, — продолжала взволнованный разговор старуха-соседка. — В нужный момент Тиша, мой куманёк, мог так прищандорить Кокетку и Боголепную, что пристяжные, закусив удила, грудью разрезали звенящий, ядрёный зимний степной воздух, давая передохнуть добросовестному кореннику, взвалившему на себя основную тяготу.

Но случилось и так, что на разгоне Тихон, управляя резвыми лошадьми, слегка привставал, чуть подавшись вперёд, вытянувшись в нитку, и кнутом с залихватским пронзительным свистом стегал по всем трём сразу, и тогда сумасшедшие кони, устремляя головы вперёд в едином порыве, словно ураганный шквалистый ветер, неслись над землёй.

От воспоминаний Елизаветы Ивановны, так льнувших к моему сердцу, мне представилось в ту секунду, что не было, пожалуй, во всём мире силы, способной обуздать стремительный бег удалой русской тройки. Я удивлялся, как просто и ясно она рисовала ретивых коней с распущенной гривой, кото-

рыми лихо управлял мой дед, и мне казалось, что весёлая старуха, изображая лошадей с ражим духом, своим искромётным, неповторимым языком словно кружева плела.

— Заветный, — вспоминала Елизавета Ивановна, — был добронравен, послушен, славился своей покорностью и преданностью хозяину. И было так потому, что ещё годовалым жеребёнком он чувствовал, что хозяин обращался с ним по-доброму, с искренней любовью, прикармливая с рук, и детёныш ластился к нему с ответной любовью.

Тихон приучил своего любимца доверять только ему одному, и когда на Красивском переходе грабитель попытался схватить Заветного под уздцы, то коренник с прерывистым ржанием вгрызся в него с такой силой, что сбросил нападавшего разбойника, выжидавшего под мостом приближения почтовой тройки, прямо в воду.

Ещё с утра старуха-соседка, наверное, была спокойна и бункала, как всегда по дому, а сейчас выбившаяся из-под косынки седая прядка волос выдавала её одушевление рассказом о жизни задушевной подруги Матрёны и Тихона. В непринуждённом, открытом, правдивом рассказе соседки чувствовалось такое внутреннее волнение, что я представил себе ясно и тот Красивский мост, и поворот, где терялся обзор дороги, по которой я недавно проезжал с отцом на мотоцикле.

— Помню, как глупо погибла Кокетка, — продолжала рассказывать Елизавета Ивановна. — После тяжёлой гоньбы Тихон отпустил её на луг, и на неё — потную кобылу — сел пчелиный рой. Лошадь металась вдоль реки, судорожно пытаясь отыскать спасительную пристань, в безнадёжном борении жизни со смертью, но пчёл ничто уже не могло остановить, и сразу несколько десятков пчелиных укусов оказались для пристяжной смертельными.

Последний час лошадь находилась в беспмятстве и прямо на зелёном лугу, звенящем птичьими голосами, тихо умирала у всех на глазах.

Не прерывая беседы мамы с Елизаветой Ивановной, я не пропускал ни одного их слова и при этом совершенно не мог понять, как могли найденные мной сегодня колокольцы рассказать о самой светлой полосе жизни моей бабушки. Не мог понять до тех пор, пока соседка не взяла в руки отложенные в сторону поддужные колокольчики и не повела неторопливый рассказ, такой искренний, что мне показалось, что если бы искренность горела, как огонь, то дрова бы были вдвое дешевле.

— Вот с этими погрелками была связана самая радостная полоса жизни моей подруги, — вспоминала Елизавета Ивановна. — Когда у Тихона зазнобило сердце молодецкое, и он не на шутку задурил — по уши врюхался в Матрёну, — то он каждый раз мимолётно на лихой тройке быстроногих лошадей заскакивал в село Красный Куток.

И я тут же представил себе это село, расположившееся в живописном месте, в красивом уголке у слияния двух рек. Извилистая Готня, засиявшая в своём медленном течении с севера на юг, с часто исчезающим в болотах руслом, с многочисленными подземными ключами, питаюсь к тому же дождями и снегом, лениво пробиралась в густом лозняке. Особый колорит селу с чарующим названием Красный Куток придавала река Локня с Понизовским лугом, с горящим от зноя небом, с шёпотом ив у воды, с тёмным, сонным сосновым бором по левому берегу и храмом, чудом уцелевшим на высоком холме на противоположном берегу реки, где росли дубовые леса, одаривающие путников летней прохладой.

Наша весёлая соседка на мгновение сникла, склонив голову, словно припоминая прошлые события и своей жизни, и снова оживлённо заговорила:

— Когда Тихон сазжал в село, за ним бежали деревенские мальчишки. Визг, писк, звон поддужных колокольцев, скрип санных мёрзлых осинового ползьев, пар, клубами валивший во все стороны из лошадиных фыркающих ноздрей и — на всю улицу всем зазевавшимся прохожим — радостный, богатырский голос потомственного ямщика Тихона: “Посторонись!” Казалось, перепонки в ушах лопнут от такого крика, а твой дед летел по улице, беря её нахрапом, подавая голос на всех перекрёстках, а звонкоголосая слава

Валдая, застывшая в металле ямщицких колокольчиков, олицетворяла удаль и волю русского народа.

Слушая соседку, я рисовал в воображении гоголевскую птицу-тройку, которая во весь дух неслась по бескрайнему, сверкающему искрами снежному раздолью, и уплывали в разные стороны благозвучные переливы колокольчиков, такие привычные уху жителей моего родного, благословенного края.

Разливавшийся на многие вёрсты окрест звон поддужных колокольчиков трогал самое крепкое сердце, ведь в нём было родное, близкое, до боли знакомое, захватывающее, щемящее чувство, которое всегда успокаивало и умиротворяло незлобивую, любвеобильную душу русского человека, может быть, и потому, что этот радостный звон возвещал всем нам прописные истины, спасительные и вечные.

Глядя на сияющее лицо старухи с оживлёнными глазами, я представлял, сколько радостных минут было у неё в тот свадебный день, когда вся семья её подруги вслушивалась в звон ямщицких колокольчиков и по их весёлому, мягкому, благодному переливу определяла, насколько счастливой будет жизнь молодых. Меня одолевало страстное желание во что бы то ни стало как можно скорее узнать от свидетельницы тех давних событий, что же было дальше. И Елизавета Ивановна, словно подслушав мои потаённые мысли, с почтительной важностью присела, осмотревшись, на чурбачок, стоявший под стеною старого скотного сарая, и, уверенно обосновавшись на нём в укромном месте, куда не проникало нестерпимо палящее летнее солнце, степенно, размеренно продолжала свой рассказ.

— Свадьбу Тихону и Матрёне играли сразу после Крещения. Матрёне было девятнадцать лет, и она не считалась ещё засидевшейся в девках. В молодости она была хороша собой, глаз не оторвёшь: щёки — как маков цвет, смуглолица, темноглаза, крупная в кости, с тонкими чертами лица настоящей казачки. Хороший товар сам себя хвалит. В предложениях засватать её твоя бабушка не испытывала недостатка; много было хороших, да вот только милого по сердцу ей долго не находилось.

Но всё приходит к тому, кто умеет ждать. Когда Тихон на тройке лошадей, в широкой кошеве подкатил к дому Матрёны, она от неожиданности всплеснула руками, сердцем почуяв, что это её *половина* и по душе, и по плоти, и на удивление всей сбежавшейся родне пролепетала: “За Тихона пойду!”

Мама с благоговейным уважением слушала Елизавету Ивановну. После её рассказа о выборе жениха она оживилась, приосанилась, как будто всё ей было трын-трава, давая понять, что ей тоже была хорошо знакома эта по-молвка.

— Свекруха, — вступила в разговор мама, перебирая в мыслях всю свою прошлую жизнь, — часто вспоминала тот вечер, что проходил в родительском доме, куда приехал Тихон с родней просить её руки: “У вас — товар, у нас — купец”.

Добрая девка в девках не засидится. Девушка в поре — женихи на дворе. Помня, что товар всегда лицом подают, мамаша вышла к гостям разряженная, нарумяненная. Матрёнин отец, не давая сватам от ворот поворот, в очередной раз давая дочери право выбора, говорил: “Гляди, дочка, в очи до брачной ночи, тебе жить-то!” И не услышав от неё отказа, хорошо помня, что между девичьим “нет” и “да” нитку не продёрнешь, дал ей наказ: “Дважды жена, дочка, мила бывает: когда в дом введут и когда вон понесут. Ну, уж если твёрдо решилась, не пытайся угодить всем — не угодишь никому. На грубое слово не сердись, а на ласковое не сдавайся. Поступай днём так, чтобы ночью твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость твоя была спокойна. Терпение — пластырь для всех ран”.

И Матрёна, твёрдо помня наказ отца, никогда не отвечала гневом на гнев и этим спасала и себя, и Тихона.

“Понимала ли моя бабушка, — думал я, слушая рассказ мамы, — что суженого-ряженого и на коне не объедешь? Гора с горой не сходится, а река с рекой сливается”.

— Где сватано, там и пропито, — продолжала вспоминать мама, — и в доме стали пропивать невесту. Гости привезли с собой обед: курицу, холодец, бублики. Им отвели почётное место, посадили на лавку в красный угол за первый стол под иконами. Потом привезённую гостями еду со стола убрали и поставили красивые, сладкие яблоки из своего сада. Это означало, что все в доме согласны на брак.

Родственников жениха наряду с мясными блюдами, мёдом и пряниками с конфетами потчевали ещё и приготовленным по своему семейному рецепту тушёным гусем с яблоками. Семья родителей мамы была зажиточной, домовитой.

Мама умолкла, захваченная воспоминаниями. Я же, наблюдая за Елизаветой Ивановной, заметил, что она, дожив до седых волос, по-прежнему не скрывала своего удивления гостеприимством родителей своей подруги, устроивших обильный русский обед, угощавших родственников жениха широкой рукой: красному гостю красный угол.

Смахнув набежавшую от воспоминаний слезу, мама продолжала рассказывать:

— Мамаша стояла со свёкром рука об руку. Зная, что от приветливых слов язык не отсохнет, застенчиво, с волнующей покорностью обращалась она к его отцу “батюшка”, а к матери — “магушка”, хорошо помня мудрые слова, что буря валит дубы, а тростник не может сломать. В её нежно брошенных словах к родным Тихона ощущалось неосознанное светлое чувство: у хорошей жены и плохой муж будет молодцом.

“Воздух словами не наполнишь, и всего не переговоришь, — тихо размышлял я, слушая рассказ мамы. — Поступки всегда говорят громче, чем слова”.

— Просватанная невеста всем нравилась: вежливость ничего не стоит, а даёт много. Все родные, приехавшие за тридевять земель, с замиранием сердца слушали, с каким душевным волнением она говорила. Вот уж точно: слово молвит, словно соловей поёт.

А Тихон стоял рядом и объяснял, кто из его родни подходил к ней знакомиться. Матрёна нутром чувствовала его сильную душевную поддержку, словно они исполняли вместе общее дело и имели *одно тело и один дух*, и многие, впервые видевшие их вместе, восторженно восклицали: “По товару и купец. Дорогому камню золотая оправка”. Матрёна была красива Тихоном, а Тихон — Матрёной.

Потом мамаша одаривала родственников жениха рубахами и отрезными платками, а свёкра — рубахой, сшитой своими руками. Может, поэтому он хорошо и принял её в доме.

После помолвки мамашина родня: отец, мать, брат и сестра — поехали в дом жениха.

И я представил себе незнакомый бабушке Матрёне Ивановне путь, со всеми родными поехавшей на дальний хутор, куда и добираться-то было не ближний свет. Но что поделаешь — к милому и семь верст не околица; любовь слепа: хоть по уши плыть, а у милого быть. Долго стояла у меня перед глазами и подаренная моему прадеду от всей души, скроенная руками бабушки расшитая рубаха. “Всякое даяние — благо: кого люблю, тому и дарю”, — думал я. Видно, очень хотела моя бабушка передать своё горячее, чистое, нежное чувство к Тихону, моему деду. Чувство, когда сердце трепещет от радости и нетерпения, от страха и жалости.

— Больно сугробиста была дорога, — продолжала мама. — Пойма реки Готни была завалена буграми снега, а на деревьях, стоявших по обочинам дороги по всему дугу, замерзавшая в воздухе сырость висела белым густым пушком инея на смыкавшихся кронах. Но всякая дорога вдвоём всегда веселее; первому — ягода краснее, последнему — тропа глаже.

— Чего меньше всего ждёшь, то чаще всего и случается, — как вытекающее следствие из своего рассуждения заключила мама. — Свекрухе моей, когда она с родными ещё только въехала на резвых лошадях на необозримый простор Машечкина луга, на сверкающем искрами снегу неожиданно бросилась в глаза богатая усадьба Тихона. Большой дубовый дом со всеми служба-

ми поднимался на мысе, выдвинувшемся горою между правым коренным берегом реки и прорезающей его балкой. Дом был обмазан глиной, снаружи побелён, крыша покрыта железом. Со стороны луга он хорошо просматривался, и всегда его легко было узнать. Мамаша тогда обратила внимание и на узоры на окнах, похожие на ржаные колосья, опущенные завитками вниз, и на иней на стогах сена — к мокрому лету, и на воробьёв, собиравших пух на большом хозяйском подворье в свои гнёзда, что говорило о приближении сильных морозов.

Слушая рассказ мамы, я удивлялся природной наблюдательности моей бабушки. Эта наблюдательность, я знаю, предостерегла её от многих бед.

— С проезжей сугробистой дороги было хорошо видно, как хutorские молодки, — продолжала мама, — подымались в гору с полными вёдрами воды, а мужики вели к колодцам под уздцы лошадей, помня, что от хозяйского глаза лошадь добреет, а не поя, не кормя, коня в оглобли не ставят. По возвышенности правого берега реки, примыкающей к пойменному лугу в начале поднимавшейся в гору улицы Бугрянки, шли хutorские бабы. Одна с посохом в руках несла на плече на толстой палке-рычаге две связки задубевшего на морозе белья, другая спускалась вниз к проточной колодезной воде, чтобы в оборудованной здесь запруде полоскать сваленное на салазки постиранное в тёплой хате бельё.

Я смотрел на жизнь хutora глазами своей бабушки и понимал: всё, что требует усилий, старания и заботы, всё, что утомляет человека, — в радость. Только белые ручки чужие труды любят. Человек славен трудом, без которого и отдыха нет. Где труд, там и счастье.

Елизавета Ивановна, продолжавшая сидеть в тени нашего сарая, снова вступила в разговор. Припоминая свой путь со всеми поезжанами отсюда, с хutora Басова, в Красный Куток, она вспомнила историю, рассказанную ей подвозчиком, ямщиком дедом Рыной.

Весёлая старуха, поправляя концы сбившейся набок косынки, сверкая щедрой, добродушной улыбкой живых, прищуренных глаз, стала рассказывать, почему дед Рына следил за санями свадебного поезда.

— Папаша одной девицы из соседнего села подыскал ей богатого жениха. А та, сатана, влюбилась в нечистую силу — буйного Степана, но до смерти боялась своего родимого отца-батюшку. И чем ближе подходил день свадьбы, тем чаще пышная девка невпопад лепетала: “Как скажете, папаша, воля Ваша”.

Отчаянный Степан несколько раз засылал к её отцу сватов. Те голосят, просят не губить девку, отдать невесту, а отец — ни в какую, не отдавал её, и всё тут. Но Степан был с форсом, по своему нутру бражник. Попросил он побалакать с отцом своей зазнобы зажиточного мужика Евдокима, уважаемого на селе человека. Да только всё зря. Не отдаёт её отец, и точка. А девка, смущаясь и робея, всё верещит: “Как скажете, папаша, воля Ваша”. Степан не стал лезть на рожон, взял да и выкинул фортель.

Папаша той девицы договорился с отцом будущего зятя, назначили день свадьбы, заготовили приданое — всё, как полагается по христианскому нашему положению.

После этих слов Елизавета Ивановна замолчала надолго, опустив голову. Затем, подавшись вперёд, взяв в руки дрючок, что-то начертила им у ног своих по земле. Охватив руками волочившийся подол широкой юбки, подгребла его под себя, поближе к коленям, и глубоко вздохнула, переживая о чужом поступке. Помолчав, продолжала свой рассказ о неудачном сватовстве.

— Плакала та полногрудая девка и причитала, прощаясь с вольной волею, как положено на русских свадьбах. Искренне плакала, не жалела слёз, ожидая приезда нелюбимого жениха. А тот, с кем она раньше стоворилась, Степан, залил свои бесстыжие глаза, взбаламутил ватагу отпетых парней, снарядил лошадей и выжидал.

Когда побежала двтвора по улице с запыленным, зазывным криком:

— Едут, едут! — его снаряжённая лентами и поддужными колокольчиками тройка понеслась с малиновым переливным звоном по всему селу и первой подкатила к крыльцу.

Плачущая невеста сразу всего не смекнула и всё лепетала: “Как скажете, папаша, воля Ваша”... Вышла она из сеней хаты, а её, тёпленькую, тут же и ухватили, посадили в сани, и тройка лошадей умчалась прежде, чем вышли родители.

Степана потом за это Разиным прозвали, а его историю рассказывал всем в назидание подвозчик ямщик Рына, который следил за всеми санями свадебного поезда своего друга Тихона во избежание на его свадьбе каких-нибудь эксцессов.

Свадьба уходом, *краденая* была трудна для девки: неповиновение родителям, страх проклятия и неизвестно, что-то будет, как примут её родители жениха. Но прожили-то они жизнь со Степаном счастливо!

Вот как в жизни бывает!

Я больше никогда не видел Елизавету Ивановну такой, как тогда, когда она будила в своей памяти тот трогательный, полужабытый свадебный случай, как будто бы это её, невесту, в молодости прямо из сеней родного дома ухватили и повезли в санях на резвой русской тройке неведомо куда. Мне почему-то вспомнились стихи замечательного поэта Иосифа Уткина:

*А она летит, лихая,
В белоснежные края,
Затихая, замирая,
Будто молодость моя.*

Мне кажется, что после этого рассказа мама на многое в жизни своей свекрови, моей бабушки, посмотрела по-новому. Присев на выступающий краешек крылечка, сложенного из красного кирпича, уже по-дружески обратилась она к мудрой старухе:

— А вот вы скажите, мамаша Лизаветка, свекруха-то им сразу ко двору пришлась?

— Ну, тут-то как сказать, — теперь уж спокойно, без всякого оживления, заговорила Елизавета Ивановна, — ведь даже лошадь за глаза не покупают. Добротный дом строится годами, он всегда хозяйкой держится, которая дороже золота. Добрая хозяйка его бережёт. Мир в семье Матрёной держался. Отец Тихона Харитон не раз в Красный Куток к ним в лавку ездил. И не только за пряниками и конфетами. Доброе имя и во тьме светит.

Редко бывает, чтобы мирно жили две хозяйки в доме: сноха и свекровь. Две гусыни в одном гнезде не усидят, всегда-то они спорят за влияние на мужа и сына, и в этом споре почти всегда ночная кукушка денную перекукует. Но Матрёна — что цветок: где он есть, там и аромат. Тихого нрава она была, сама по себе смирна, скромна, терпелива, а терпение-то всегда розы приносит.

Скроенные и пошитые её руками рубахи, подаренные родным жениха, показали им ещё и трудолюбие невесты: у неё и глаз наметан, и мастер-то она большой руки. Матрёна умела исполнить любое дело, и работала всегда не за страх, а за совесть. Да и сама зажиточность и с той, и с другой стороны позволила Харитону, отцу Тихона, остановить свой выбор на ней: добрый портной всегда с запасом шьёт, и только зажиточные крестьяне могли себе позволить покупать ткани.

Свадебный поезд, который ехал “добывать невесту”, снаряжался в доме Тихона. На свадьбе все бояре, а жених с невестою — князь и княгиня. Поезд составлялся отцом жениха, который на свадьбу созвал чуть ли не весь город.

Молодой князь был разодет в свадебную рубаху, пошитую невестой Матрёной.

Самым уважаемым человеком в поезде был крёстный отец жениха. А главным свадебным распорядителем — дружка Басов Стефан Андреевич, крепкий мужик с хутора, который был недурен собой, знаток обычаев, ловок и смьшлён, песенник и плясун. У него был такой язык, что и на привязи не удержишь, а от его рассказов слушатели хохотали до колик в животе. Был он хитёр в обращении, вился, как хмель, а мысль хватал на лету. Словом, голова с поклоном, язык с приговором, ноги с подходом, руки с подносом.

Свадебный поезд, как сейчас помню, отправлялся прямо из-за стола, и Стефан Андреевич просил у родителей молодого князя благословения ехать за невестой. За поясом у него была плеть, и он время от времени неистово хлопал ею по воздуху, как будто бы под её сокрушительными ударами отступала сама нечистая сила.

Я представил себе этого крепкого мужика с его буйной, удалой, молодецкой, беззаботной головушкой. Представил, как перед самым отъездом в дальний путь все — и отъезжающие, и провожатые — на минуту присели, получив от моего прадеда Харитона напутственные слова: “В добрый час!” С Богом тронулись в нелегкий путь выкупать невесту — мою бабушку.

— Ехали в пяти тёплых саях, запряжённых тройками резвых лошадей, а ехать-то было не ближний свет, — рассказывала Елизавета Ивановна. — Жених был богатый, и ехал в церковь венчаться в кошеве. Поезд был празднично разряжен. Вся упряжь — постромки, хомуты, шлеи, вожжи — была изукрашена, вся блестела. В гривах лошадей вились ярко-красные ленты. Дуги были обмотаны кумачом, и к ним были подвешены поддужные колокольчики. Вот этот свадебный колокольчик с надписью: “Прощай, милая моя, еду в дальние края” я хорошо помню. Тиша, мой куманёк, ездил за ним в самый город Курск на ярмарку: для сердца, преисполненного желанием, нет ничего невозможного.

Живо вообразив своего деда, сидящего в тёплых саях со спинкой и удобными краями, я представлял себе свадебное веселье, летевшее по заснеженным холмам с чудной, залихватской песней: “Когда б имел золотые горы и реки, полные вина...”. Мне представлялось, что голоса поющих поезжан того свадебного поезда были невыразимой красоты и силы и вольно лились по волнистым склонам моего родного раздольного края с такой душевной теплотой и силой, что мурашки бежали по всему телу от одной только мысли отдать всего себя в полновластное владение любимой: “Всё отдал бы за ласки, взоры, чтоб ты владела мной одна!”

Словами невозможно передать богатство эмоций и красок в той задушевной песне русского народа, звучавшей внутри меня; там надо было говорить всем пламенным сердцем и всей любвеобильной душой, невольно ощущая утрату искреннего чувства любви, которое невозможно было променять ни на какие жемчуга и злато: “Не надо мне твоей награды. // Не надо ворона коня. // Ты пропил горы золотые // И реки, полные вина”.

Обновляя память о том веселье, я думал, что вся свадьба-то и песни не стоит, до тех пор, пока Елизавета Ивановна вновь с головой не погрузила меня в свои прекрасные, сентиментальные свадебные воспоминания.

— Хорошо помню тот день, когда подругу повезли в церковь к венцу. Искрящийся на солнце серебристый снег вдоль дороги, по которой мчится свадебный поезд, по обочине разбрасывают конфеты, и в разные концы пространства Вселенной уплывают мелодичные звоны ямщицких поддужных колокольчиков. Голову и полувоздушный стан радостной Матрёны покрывает белоснежная кружевная фата, и колокольчиком звенит сладковатый, серебристый её голосок.

А когда зазвучали церковные колокола, Тихон с любовной нежностью заботливо приподнял покрывало с милого, невинного личика своей невесты и под малиновый звон стяхнул его, сбросив снежную пыль, чтобы всегда цветущее лицо его любимой сияло чистым, нетварным светом солнечного, безграничного семейного счастья.

Их встречали у ворот с хлебным караваем — даром матушки-земли, украшенным колосьями ржи, пшеницы и багровыми гроздьями ягод калины, которая была символом любви, зримым свидетельством чувств, прочно соединивших молодых.

Слушая рассказ Елизаветы Ивановны о свадебном гулянии, наполненном песнями и плясками, я подумал о том, что с этих вот найденных мной сегодня колокольчиков и начиналась светлая, счастливая полоса в жизни моей бабушки.

Словно сквозь сон услышал я издалека приятный, переливчатый звон поддужных колокольчиков, встревоживших мою душу, увидел молодого деда — потомственного ямщика, который на рысистой тройке гривастых лошадей, в ясный морозный день лихо мчался по привольным волнистым просторам, распевая: “Еду, еду, еду к ней, // Еду к любушке своей”. Резво бежавшая тройка взрывала *пушистые бразды* снега, а в селе Красный Куток, в *высоком терему* у подножия горы ждала Тихона его любушка, его отрада — Матрёна, моя бабушка. В *лунном сиянии* у парадного крыльца колокольчиком звенел её девически нежный заливистый голосок: “Динь-динь-динь! Динь-динь-динь!” Он сладко пел о настоящей, теперь уже навсегда ушедшей любви.

У каждого своя песня, но не каждая песня до конца поётся. Всё то, что было, — всё в прошлом, и того времени уже не воротить. Но мне хотелось задержаться в нём, остановить то прекрасное, навсегда улывающее мгновение, которое казалось мне то настоящим, то сном.

“Ямщик, не гони лошадей...”